

Не спалось... То ли от волнения перед предстоящей охотой, то ли от нахлынувших воспоминаний и сопутствующих им переживаний, а скорей всего от того и другого, да ещё от духоты в жарко натопленном помещении, как ни старался Михаил Романович хотя бы часок вздремнуть, забыться, дать отдых душе и телу – не спалось. Да и что проку доискиваться причин бессонницы – прилипчивой спутницы тоскливого одиночества и неотвратно надвигающейся старости, так беззастенчиво заявляющей о своих правах. Он решил не мучиться томительным ожиданием заранее назначенного часа, встал, включил свет и, широко распахнув форточку и настезь дверь, сквозняком проветрил домашние тропики бодрящей весенней свежестью.

Ах, если бы так легко можно было проветрить и голову! Думы, думы... Гнать их! Ночные думы назойливей осенних мух, нет спасения. Несколько глубоких глотков живительной прохлады всё же вернули ясность сознанию, придали энергии, побудили

к действию. Путь предстоял неблизкий, не торной дорогой; два часа в запасе позволят не бежать очертя голову, да и на месте обслушаться и обсмотреться, как надо быть. С каждой весной маршрут на Золотой Борок давался Михаилу Романовичу всё трудней: годы...

Годы... Он и отсчитывал-то их этими ежегодными походами в собственный день рождения, 31 марта, в виде дорогого подарка, даруя себе право и возможность добыть одного петуха на заветном, только ему знакомом глухарином току, переданном начинающему охотнику Мише Пылякову его отцом, Романом Михайловичем – страшно подумать! – шестьдесят лет назад.

Именно тогда шестнадцатилетний деревенский паренёк получил из рук отца, бывшего фронтовика, такой желанный и по тем временам бесценный подарок – трофейную двустволку бельгийского производства с полным набором полагающихся причиндалов: два десятка блестящих латунных гильз, пачка пороха, упаковка капсулей,

несколько холщёвых промасленных мешочков с дробью...

Не меньше радовали элегантный светло-коричневый кожаный ружейный чехол, в цвет ему поясной патронташ, состоящий из трёх подсумков, закрывающихся клапанами с тиснёными на них сценами охоты. Если присовокупить ко всему разборный шомпол с комплектом ёршиков разной жёсткости и набор приспособлений для снаряжения патронов, можно представить, обладателем какого сокровища удостоился стать молодой, ещё только начинающий охотник.

Но и это не всё! Едва ли не более дорогим сердцу подарком стал Золотой Борок – удалённое, труднодоступное, потаённое от чужих глаз место глухариных игрищ, токовище, куда, повинувшись непреодолимо влекущему зову крови, каждую весну в назначенный природой день и час слетаются на брачные турниры тяжёлые на крыло птицы с плотным, радужно отливающим на свету оперением и алыми, словно кровью набрякшими от избытка сил бровями, в проявлении страсти теряющие не только слух, но и стыд, и страх, и рассудок, а зачастую и саму жизнь.

Сколько их слетелось тогда, когда отец впервые осчастливил именинника показом этого незабываемого зрелища? Они насчитали два десятка, но это условно, совсем не точно: по хлопкам мощных крыл, по характерным звукам скрежета и точения, доносящимся со всех сторон и называемым «весенней песней», их было куда больше.

Глухари перелетали с дерева на дерево, опускались на лесную поляну и поиндюшиному распускали веером хвосты, бегали меж стволов живых и поваленных деревьев, чертя опущенными крыльями по снежному насту; вновь с шумом поднимались на крыло и усаживались на облюбованные верхушки сосен, ласково облитые золотом лучей восходящего солнца. Слушались и петушиные ристалища: наскоки



грудью, удары лапами, клювом... Концерт! Представление!

Отец, бывший фронтовой разведчик и опытный охотник, показал тогда, что теперь называют, мастер-класс – метким выстрелом чисто, по всем канонам скрал находящегося в иступлении весенней эйфории мошника. «Всё, с нас хватит, жадничать не станем, – заявил он назидательным тоном, без суеты, степенно убирая трофей в армейский вещмешок. – Следующего, бог даст, возьмёшь сам на будущую весну. Запомни: не больше одного! И держи это место в секрете...». Миша уже тогда умел хранить и свои, и чужие секреты...

На улице стояла непроглядная темень. И тишина. Нарушая её, под ногами звонко похрустывала прихваченная ночным морозцем ледяная корочка, на звук чего несколько раз спросонья лениво взбрыхнул соседский пёс. «И тебе, Дружок, не хворать», – как на приветствие ответил ему Михаил Романович, поправил отвороты высоких охот-

ничьих сапог и, едва глаза притерпелись к черноте ночи, уверенно отправился хорошо изученным за столько лет маршрутом.

Миновав деревню, заросшей поймой вдоль извилистой Навли до хлипкой, чудом уцелевшей переправы в две жердочки; на другой берег вскрывшейся речушки; хлябью кочковатого Берёзового болота к песчаной гриве, ощетинившейся хвоей вековых сосен; и, наконец, в самую чащу едва приметной петляющей тропкой, с трудом преодолевая препоны ветровала и бурелома, – на Золотой Борок. Всего-то километров восемь...

Всего-то... Легко сказать! А ведь силы понадобятся и на обратный путь, только уже не по подсушенному ночным морозом, а по слякотно-раскисшему на полуденном мартовском солнце бездорожью, всклень напитанному талой водой. Ну да не впервой, оно того стоит: как ни уставал, от этих походов старик получал удовольствие. Они, эти походы, превратились для него в своего рода ритуал, пропустить который считалось неуважением, предательством по отношению к тому, что досталось по наследству, что свято, что навсегда...

Навсегда... Довольно-таки странная, неустойчивая категория, если взглянуть на неё под ракурсом «ничто не вечно». Часто расплывчатое «навсегда» ограничено во времени конкретикой «до пока» и длится не дольше короткого человеческого века. Вот и его, Михаила Пылякова, «навсегда» подходит к логическому концу, и что уж тут поделаешь...

Михаил Романович с раздражением заметил, что мысли, от которых он старался избавиться, которые гнал, никуда не исчезли, по-прежнему досаждают своей назойливостью. Между тем до заветного места оставалось уже не так далеко: он решил присесть, перевести дух, настроиться.

Знакомая обомшелая валежина, на которой так удобно сиделось и год назад, и прежде, и на этот раз была готова к услугам:

она ещё гуще обросла зелёным мхом, стала податливо-рыхлой, мягкой, удобной, как кресло. Раньше, когда был помоложе, он здесь оставлял всё лишнее – мешок с продуктами, топор, котелок, чехол, даже ватник, и дальше шёл налегке, только с ружьём, осторожно ступая, чутко прислушиваясь, присматриваясь, по-звериному приносясь. Позади оставались повседневные заботы, рутинные хлопоты, бытовые тревожнения, худые думы – всё, что здесь, на охоте, абсолютно неуместно, что мешает.

Теперь же... Теперь он просто не брал с собой ничего лишнего, ведь даже ружьё – лёгкое, изящное, привычное до нерасторжимости – становилось порой обременительно тяжёлым, будто чужое. А чутьё? Глаз притупился, ухо ослабло. Уже не по-звериному, а так, запросто, потянув ноздрями, можно было без труда уловить лишь свой собственный запах – запах старости: износился. Это угнетало, не хотелось к этому привыкать, с этим мириться...

В пока ещё не пробудившемся лесу под плотным пологом сосновых крон лежал осевший мартовский снег – крупитчатый, серый, медленно тающий, покрытый слоем опавших рыжих иголок. Прозрачные лужи скопившейся в ложбинках воды за ночь не заledenели, а лишь слегка подёрнулись слюдяной поволокой: в лесу всегда немного теплее. Всё это становилось доступно обозримым по мере того, как чернота ночи смягчалась, постепенно сменяясь предрасветной серостью, а затем не полной, пока ещё довольно скудной палитрой весеннего леса: блеклый кобальт неба, хром хвои, медь и бронза стволов с патиной с северной стороны.

Опять же смолистый настой воздуха, упительный, которым не надышаться: прохладный, свежий, густо насыщенный всем здоровым, незаменимо полезным, поистине животворящим. Предаваясь коварно обволакивающему, благостно расслабляющему воздействию тишины и покоя, сидя

в удобной позе, хотелось закрыть глаза, от-
решиться от всего суетного, наносного, хоть
ненадолго забыться...

Разбудили Михаила Романовича не же-
ланные, вводящие в охотничий экстаз звуки
скирканья и точения, – в стороне глухари-
ного тока визгливо завелась и заработала
бензопила. Старый охотник не поверил соб-
ственным ушам: морок? кошмарный сон?
наваждение? Нет, явь... Вот уже и лесина,
лихо поверженная хищной стальной цепью,
с треском и грохотом валится на землю,
подминая собой нежную поросль молодого
подроста. Это было потрясением! Неуже-
ли?..

Ещё грибной осенью посетив свою за-
поведную вотчину, Михаил Романович с
опаской насторожился: ветром будто бы
донесло отдалённые звуки лесоразработок.
Он напряжённо прислушался в сторону же-
лезной дороги, откуда мнились подозрите-
льные звуки, сняв шапку, повертел головой,
прикладывая ладонь к уху, но так толком и
не разобрал: вершины сосен гулко шумели,
сами «мачты» жалостно скрипели, раскачи-
ваясь на ветру, мешали сосредоточиться.
«Далеко», – решил про себя старик и на том
благодушно успокоился. Вот, оказалось, не
так уж и далеко, добрались...

Восходящее солнце бесстрастно облива-
ло позолотой вершины деревьев, сказочно
преображая округу, но любоваться, как ра-
нее, красотами пейзажа не было ни жела-
ния, ни времени, ни даже мысли: успеть бы!
К визгу пилы добавился хорошо различимый
шум техники: лязг гусениц трелёвщика,
рочот тракторного двигателя. Это не предвещало
ничего хорошего. Тропа сама стели-
лась под ноги: расстояние в триста метров
осталось позади гораздо быстрее обычного.
От такой нагрузки вкупе с волнением серд-
це выскакивало из груди...

Не успел. Опоздал. Проворонил... Лесоза-
готовка шла полным ходом. Золотого Боро-
ка просто не стало: на его месте, на площа-
ди в два гектара, порезанные на удобный



для транспортировки шестиметровый стан-
дарт, в компактных штабелях лежали столет-
ние смолистые великаны. Их могучие изум-
рудные кроны, в недавнем столь желанное
прибежище распираемых любовной стра-
стью пернатых женихов, теперь в качестве
порубочных остатков неприкаянно валя-
лись на земле, в грязном снегу, покорно
дожидаясь своей бесславной участи – быть
преданными огню. Это было дополнитель-
ным жестоким ударом по сердцу. В полном
изнеможении, весь в испарине, Михаил
Романович, задыхаясь, присел на жесткий
смолянистый пенек, дрожащей рукой не-
ловко распахнул пошире ворот рубахи. Его
растерянный взгляд, блуждая, выражал пол-
ное недоумение: да что ж это? как же так?
Вместо сплошной, стеной стоящей зелёной
громады, насколько хватало глаз, везде
уродливо торчали пни. Посреди замешан-
ной гусеницами и колесами каши из снега,
грязи, черничника, древесной коры, щепы,

опилок, сухих и измочаленных свежих веток высились беспорядочно кучи лапника и кореня.

Кое-где едкий вонючий дым от резиновых покрышек и сырой, плохо разгорающейся хвои пробивался сквозь эти кучи, низко расплзался, стелясь сизой завесой, частично маскируя все это безобразие, одновременно придавая и без того неприглядной картине зловещие краски разбоя и поругания: Мамай прошел!

Мысли путались, голова туманилась. Широкие скулы, обычно бледные, плотно обтянутые щетинистой серой кожей, порозовели. Душа не принимала того, что он видел, противилась, возмущалась. Какая тоскливая бесприютность, белый свет не мил!

За долгую и трудную, полную испытаний жизнь Михаил Пыляков так и не научился молиться: Священного писания не читал, в церковь не ходил... Даже «Отче наш» не затвердил. Да и не принято было в стране воинствующего атеизма взывать к Всевышнему. Он и не взывал, по-мужски перемогая: ни когда провожал в цинковом гробу сына, ни когда навек ушла высохшая от горя и слез жена, мать героя-афганца. Терпел. Сердце истомилось, голова побелела от словом невысказанного, слезой неомытого, в душе перегоревшего. Но вот «гром грянул».

«Господи! Господи! Зачем попустил чинить такое на земле?! Уйми их, кто грех и пакость творит! Уйми, ведь живое губят! И все, поди, по закону, с бумагами... Заступись, Господи, за бессловесных!» – как мог мысленно творил молитву и заскоружлыми, не гнушимися в щепотку перстами неумело крестился от-

чаявшийся мужик, продолжая недоуменно озираться.

Невольно вскипевшее было чувство негодования, протеста бессовестному проявлению вандализма вылилось лишь в эту безыскусную непритворную молитву и в глубокий, до всхлипа, вздох огорчения от осознания собственного бессилия: ничего уже не спасти, все... Эх, доля!

Медленно приходя в себя, он так и оставался потерянно сидеть – простоволосый, ссутулившийся, окончательно состарившийся, лишний. Мимо проезжавший на тракторе один из лесорубов, сам уже немолодой, притормозил и, бего оценив обстановку, прямо из кабины громко побеспокоился: «Что, отец, нехорошо?». Выцветшими глазами презрительно, с обидой посмотрев на доброхота как на отъявленного виновника всего разорения, «отец» укоризненно покачал головой и, едва сдерживая слезы, отмахнулся зажатой в руке потной ушанкой: шел сердце потешить, душу отвести, а тут...

Недолго выпало скорбеть и убиваться по безвозвратно утраченному: в тот же год, как не стало Золотого Борока, не стало и старого охотника с незачерствевшей душой романтика – сердце... Некролога не печатали, сочли – не велика птица. Зато вскоре появилось короткое газетное объявление, видимо, от каких-то оставшихся родственников: «Продается ружье бельгийского производства. Недорого». Уверен, быстро нашлись и покупатели: жизнь продолжается...